

Василий
Ирдаматский

ИЗБРАННОЕ

Василий Ардаматский

Избранные произведения
в двух томах

Том второй

ДОРОГА ЧЕСТИ

Роман



ПОВЕСТИ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Оформление художника

М. ШЕВЦОВА

А $\frac{4702010200-393}{028(01)-82}$ 54-82

© Состав, оформление.
Издательство «Художественная литература», 1982 г.

дорога
чести

Роман

Истина только одна. Я люблю свой народ, служил ему верно и преданно всю свою сознательную жизнь.

Из показаний В. Заимова на фашистском суде

Владимир Заимов был такой умный, такой честный и чистый, что он не мог не прийти к коммунистам.

Дола Драгойчева — старейшая болгарская коммунистка, знающая Заимова с тридцатых годов, ныне член Политбюро ЦК БКП

ГЛАВА ПЕРВАЯ



еще не было Сталинграда, и все враги коммунизма, сделавшие ставку на Гитлера, верили, что он станет могильщиком государства коммунистов. Французский фашист Дорио писал: «Надо признать, мы были непрослительно наивны, когда, уничтожая одного коммуниста, думали, что мы подрываем коммунизм. Гитлер и его могущественная Германия — вот кто взял на себя историческую, сколь тяжелую, столь и благородную миссию покончить с коммунизмом. Будучи вождем, мыслителем и полководцем, он понял, что начало и конец коммунизма находятся в Москве».

Именно под Москвой гитлеровская армия потерпела свое первое поражение. Но до конца было еще далеко. Так невообразимо далеко, что верить в него мог не всякий даже мечтавший о нем.

Кончался май 1942 года.

Начиналось второе лето войны. Более двухсот вражеских дивизий, более трех миллионов гитлеровцев рушили

жизнь на нашей земле. После первых поражений под Москвой и в других местах гитлеровское командование перебросило на восток еще тридцать пять дивизий. Гитлер заявил, что этим летом Красная Армия будет уничтожена. Миллионы солдат по-немецки беспрекословно выполняли этот приказ своего фюрера. Каждый день, каждый час на всех девяти фронтах, спасая свою Отчизну, погибали наши воины. Потом, после войны, будет сделан страшный подсчет — двадцать миллионов человек! Двадцать миллионов советских людей пожертвовали своей жизнью, защищая светлую правду коммунизма!

А пока над окровавленной нашей землей занимался триста сорок второй день войны.

Столбы дыма над обоими берегами Северского Донца траурно чернили белесое предраусветное небо, закрывали розовые всполохи над горизонтом там, где солнце только-только собиралось взойти. Здесь вырывалась из окружения часть наших войск, участвовавших в наступлении на Харьков и попавших в беспощадное кольцо вражеских дивизий. А ближе к Харькову свой, может быть последний рассвет встречали оставшиеся в кольце наши солдаты и командиры. Его уже не увидели генералы Ф. Я. Костенко, А. М. Городнянский, И. П. Подлас — они погибли рядом со своими солдатами.

Утро вставало над всеми фронтами. Только на севере, где начиналось полярное лето, солнце в грязных тучах днем и ночью низко летело над штормовым Баренцевым морем, и там, то ныряя в пропасти волн, то взлетая на их гребни, потеряв счет времени, вел смертный бой с тремя «юнкерсами» маленький боевой корабль-сторожевик. На его горящей палубе единственный оставшийся в живых матрос огневого расчета сжимал окаменевшими руками зенитный пулемет, и его колотило мерной дрожью раскаленного оружия.

Неистовый бой шел на земле, на море и в воздухе.

В эти майские дни наши войска после ожесточенных сражений оставили Крым. Только Севастополь еще вел героический бой. К 20 мая гитлеровцы стянули сюда свои находившиеся в Крыму войска и начали бешеный артиллерийский обстрел и бомбежку города. Ежедневно на город падало до шести тысяч бомб. Немцы привезли сюда сверхмощное орудие «дора» с тридцатиметровым стволом, его лафет составлял стальную громаду размером с трехэтажный дом, «Дора» швыряла в город огромные снаря-

ды, которые дробили гранит. Но защитники горящего города продолжали бой. От дыма и пыли они не видели, как занимался триста сорок второй день Великой Отечественной войны. Командующий вражескими войсками Манштейн потом напишет в своих воспоминаниях: «Противник предпринимал неоднократные попытки прорваться в ночное время на восток, надеясь соединиться с партизанами в горах Яйлы. Плотной массой, ведя отдельных солдат под руки, чтобы никто не мог остаться, бросались они на наши линии. Нередко впереди всех находились женщины и девушки-комсомолки, которые тоже с оружием в руках воодушевляли бойцов...»

В утро триста сорок второго дня войны эти девчата еще были в городе, они перевязывали раненых, стирали госпитальное белье, подносили на передний край боеприпасы. Их последний подвиг, запавший даже в душу фашистского генерала, был еще впереди, но уже очень близко.

Это утро на своих лесных базах встречали вернувшиеся из ночных рейдов партизаны. Еще не остывшие после ночного боя, они в эти минуты не думали ни о весне, ни о шумевшем вокруг лесе, они вспоминали своих боевых товарищей, для которых этот бой стал последним.

В ночь под это утро недалеко от Гомеля, в глубоком тылу врага, спустились на парашютах советские разведчики Федор Кравченко и Александр Коробицын. Им предстояло выполнить важнейшее задание Родины. А их боевой товарищ в эти же утренние часы далеко, очень далеко от Гомельщины, в болгарской столице Софии, начинал свой последний бой.

В четыре часа утра болгарского генерала Владимира Заимова везли из тюрьмы в суд.

Окон в тюремной машине не было. Тусклая лампочка на потолке за густой проволочной сеткой моргала от тряски. Заимову вспомнились те секунды, когда он сделал три шага от тюремной двери до машины. Нежный весенний рассвет обдал его свежестью и прохладой. Но это длилось лишь мгновение — дверь машины захлопнулась, и все исчезло.

Постепенно глаза свыклись с сумраком, и он увидел обшарпанные стенки тюремной машины и сидевшего напротив охранника — молодого мордастого парня с пухлы-

ми губами, отчеркнутыми сверху черными усиками. Он сидел, пододвинув ноги под скамейку, будто изготавился к прыжку, одна рука на расстегнутой и сдвинутой на живот кобуре с пистолетом, другой рукой он держался за лавку. Выпуклые, широко расставленные глаза охранника смотрели на него без всякого выражения. «Не похож на болгарина», — подумал Заимов.

Два месяца допросов и истязаний в тюрьме и в охранке — все палачи казались ему не болгарами. Но странно — у них были болгарские имена и говорили они по-болгарски без всякого акцента. Это казалось немыслимым — жестокость никогда не была в характере болгар. Храбрость — да. Но не жестокость.

Впрочем, допрашивали его не только болгары. Немцев он узнавал сразу — эти, что бы ни происходило, сохраняли деловое спокойствие, иногда даже улыбались. Однажды охранник хотел ударить его наотмашь, но он успел уклониться, и кулак охранника шмякнулся о стену. Немец, сидевший в стороне, снисходительно улыбнулся. О да, немцы и это делают лучше. Они все делают профессионально: и собирают машины, и истязают людей.

Немец был в штатском, хорошо отглаженном сером костюме. У него было тонкое интеллигентное лицо. Он равнодушно смотрел на происходящее, и только когда охранник разбил себе руку, сделал знак прекратить, и сказал тихим голосом, будто размышляя вслух:

— Нет, все-таки это дикость, что какой-то мелкий функционер полиции избивает прославленного генерала. — Он говорил по-немецки, видимо зная, что охранник его не понимает. — Этому человеку поручили такую работу только потому, что его умственное развитие находится в эмбриональном состоянии. Но вы-то...

Не дождавшись ответа, немец вышел из камеры.

Охранникам было мало того, что Заимов не опровергал обвинений против себя, они хотели получить от него улики против других, а главное — раскрыть все его связи.

Время от времени, очевидно чтобы подтолкнуть генерала к мысли о капитуляции, ему устраивали очные ставки с людьми, продавшими свою совесть. Но Заимов смотрел на этих людей с печальным удивлением: как могли они обменять совесть на жизнь? Как они собираются после этого жить?

Главный инспектор полиции Цонев, руководивший до-

просами Заимова, прекрасно знал, что его сотрудникам не по силам состязаться с генералом в уме, и дал приказ беспощадно его истязать. У него была своя концепция — чем умнее и тоньше человек, тем труднее переносит он боль.

Дикость... дикость... Это сказанное тогда немцем слово, как игла, вошло ему в мозг и требовало от него какого-то решения. И еще тогда, в первый раз во мраке боли, блеснула мысль кончить все самому...

Боль... Он столько передумал о ней, что мог бы написать целый трактат о боли... о философии боли. Когда ему во время войны с турками осколком раздробило ногу, он испытывал чудовищную боль, но продолжал командовать своими артиллеристами, и потом, в госпитале, тот душевный подъем, с которым он вел бой, помогал ему справляться с болью и помогал врачам, лечившим Заимова. Когда он уходил из госпиталя, врач-хирург сказал: «Уж я-то знаю, какие муки вы перенесли, и ваше мужество в больнице вызывает у меня не меньшее уважение, чем ваш военный подвиг». Генералу вдруг захотелось ответить, что и на поле боя, и здесь, в госпитале, ему помогала любовь к отечеству, но он вовремя удержался от этой несвойственной ему высокопарности, только крепко пожал врачу руку и зашагал, прихрамывая, к выходу.

Потом было еще одно ранение — уже на фронте первой мировой войны, в самом начале 1917 года. За несколько дней до этого, в новогоднюю ночь, его солдаты братались с русскими, он видел, как это происходило, и даже не подумал помешать братанию. И с той, другой стороны тоже никто не мешал. Тогда он вынес свой окончательный приговор этой войне.

А между тем братание солдат на русско-болгарском фронте вызвало тревогу и в Софии и в Петербурге. Последовали строжайшие приказы возобновить военные действия. Спустя несколько дней осколок русского снаряда попал ему в голову. И снова госпиталь. И снова врачи изумлялись его выдержке на операционном столе. Но он уже не мог сказать врачу то, что готов был сказать тогда, после выздоровления от первой раны. Боль от второй раны он переносил как наказание, она была для него уроком истории, уроком долгим, на всю жизнь.

Но теперешняя боль от побоев в глухой тюремной камере нечто совсем другое. Можно, конечно, поддерживать себя мыслью, что здесь, в застенке он тоже ведет бой за

свою Болгарию. Можно... Можно... Но мысль эта не была твердой, она как бы растворялась в боли, скользила, по-ровила исчезнуть. Тюремная камера — каменный ящик с высокой щелью зарешеченного окна, и мерзавец с красивым злым лицом наотмашь бьет его, и в глазах у палача пустота. Ему приказано бить, и он бьет. Если прикажут убить — он убьет, и глаза его будут при этом гореть такой же пустой яростью. Разве можно осознать это как бой, как сражение?

Его били почти ежедневно, истязали жестоко и расчетливо, он понимал, что в нем хотят убить человеческое достоинство, чтобы потом иметь дело не с ним, а только с его физической оболочкой, лишенной духа. Боль врывалась в него с каждым таким допросом, растекалась по всему телу, мешала дышать, гасила сознание. Мысль всплескивалась над болью и тут же тонула в ней. Мысль одна и та же — он никого не предаст, никакие страдания не заставят его запятнать свою честь, изменить боевому товариществу.

Но разве обязательно для этого терпеть такую ужасную муку? Ведь все равно впереди смерть.

До сих пор он переносил истязания на допросах с мужеством, которое удивляло и утомляло палачей. Но вчера они придумали новую пытку — приставили раскаленную лампу к голове чуть повыше темени, к тому самому месту, где, никогда не переставая, болела старая рана. Он пережил мгновения ужаса — вдруг почувствовал, что рассудок как бы отделился от него, он мог наблюдать его со стороны. Он слышал крик палача: «Скажи! Скажи!» — и видел, как от каждого крика рассудок его судорожно сжимался и кровоточил. И он недоумевал: почему рассудок молчит, почему не сделает то, что от него требуют? Но в этот момент лампу отняли от головы, и страшное видение собственного рассудка медленно потухло.

Ночью он все время думал о пережитом на этом страшном допросе с лампой и признавался самому себе, что, если палачи продолжают страшную пытку, он может не выдержать. Это страшнее смерти... Нет, нет! Он не может отдать в руки палачей людей, с которыми себя связал и которые свято ему верили. А если опять лампа?.. Если опять?..

Смерть спасет его и от боли, и от унижений на суде. Он помнит тот первый суд над ним шесть лет назад, помнит, как было непереносимо, забыв о самолюбии и скром-

пости, публично доказывать, что он не изменщик, а патриот своей родины. Теперь суд будет еще более унижительным, ведь фактически его будут судить бандиты Гитлера, для которых один закон — беззаконие и одна цель — уничтожить его. Он отнимет у них эту возможность!

Анна... дети... Смерть оборвет все его связи с ними, даже мысленные. Жизнь среди них была счастьем, в нем он черпал силы для всего, что делал. Недавно он сказал Анне, что входит в свой дом, как входит в тихую гавань потрепанный бурей корабль. Он пошутил, но это было именно так.

После сына Анна родила ему дочь, и, когда он увидел жену в больнице, измученную трудными родами, он еще раз поклялся уберечь ее от всех бед, что только есть на земле, она никогда не должна пожалеть, что соединила свою жизнь с ним. Боже, каким наказанием стало для него думать о судьбе близких.

Лежа на койке, он обтачивает ручку от тюремного бачка о каменную стену, думая только об одном — достанет ли самодельный нож.

И вдруг он вспомнил! В Болгарии есть закон, по которому человек, находящийся под следствием, считается оправданным, если умирает до суда. Смерть как бы снимает с него еще не подтвержденные судом обвинения. Какое счастье! Как хорошо, что он вспомнил об этом! Он поможет Анне... детям... Он спасет их. Они даже не лишатся права на пенсию.

Все! Решено! Он сделает это завтра.

Гремят ключи тюремщика.

— Выходи!

Он старается идти медленно, чтобы собраться с силами. Тюремщик орет, толкает в спину. Неужели опять раскаленная лампа?

Его ввели в камеру для допросов, хорошо ему знакомую, — вон на стене засохшая кровь. Это его кровь.

Главные палачи Цонев и Праматоров ждали его.

Когда они присутствуют на допросе, мучения сильнее. Это они придумали лампу. Цонев однажды сказал: «Я убью тебя, но прежде ты узнаешь все Христовы муки...»

Сейчас он подошел и спросил, оскалась:

— Еще таскаешь ноги, господин генерал? Не пора ли их протянуть, как положено покойникам?

Заимов молчал, смотря с высоты своего роста поверх головы палача.

Цонев ткнул его кулаком в лицо.

— Мы научим тебя разговаривать,— тихо сказал он, вытирая платком кровь с руки.

Заимова посадили на табурет к стене, и Праматоров приказал конвойному:

— Введите.

Заимов слизнул кровь с губы. Значит, опять какая-то очная ставка. Кого они притащили на этот раз? Что будут требовать??

За спиной шум, шарканье шагов — кого-то ввели.

Праматоров сидел за столом. Цонев встал сбоку.

Тишина.

— А ну-ка повернитесь, посмотрите,— весело сказал Праматоров.

Он повернулся... Сын! Стоян! Похудевший, с землистым лицом, на котором темнели кровоподтеки.

— А он почему здесь? — с трудом, хрипло спросил Заимов, со страхом прислушиваясь к боли в сердце, захлебнувшемуся частым стуком. — Вы же знаете, что у него совсем другие взгляды на жизнь и на все... на все...

Это решено не сегодня, еще в день ареста — утверждать, что сын не разделяет его убеждений и верит в победу Германии. Когда охранники уводили его из дому, он, прощаясь с сыном, громко сказал: «Выходит, ты прав — Германия победит...» Он подсказывал сыну, как себя вести, хотя уже тогда понимал, что это вряд ли поможет — к тому времени охранка уже добралась до варненской группы, в которую входил сын, и только за неделю до ареста ему удалось добиться перевода сына из Варны в Софию.

И вот Стоян тоже в охранке.

— Ну что ж, давайте разберемся, какие там у вас расхождения во взглядах,— насмешливо сказал Праматоров: заместитель начальника полиции поначалу всегда казался на допросах таким весело-непринужденным, а когда начиналось истязание, его подвижное лицо застывало в злобном восторге.

— Тут нечего и разбираться, мой сын и я молимся разным богам,— сказал Заимов совсем спокойно, ясно и даже попытался улыбнуться распухшими губами. Он снова подсказывал сыну, как себя вести.

— Отвечай, зачем ты недавно был в Варне? — крикнул Цонев.

— Я часто бывал в Варне, какую поездку вы имеете в виду? — спросил генерал, чтобы выиграть хоть секунду.

— Не выкручивайся! Последняя поездка! Последняя!

— Ах, последняя?.. Должен вас разочаровать — это было чисто семейное и даже интимное дело.

— Интимное? — ядовито спросил Праматоров. — Оказывается, даже такие дела, как служебный перевод офицеров из одного города в другой, решаются у вас в семье?

— Это неверно. Подобные вопросы решаются в военном министерстве.

— Ну, слава богу, — продолжал Праматоров. — Тогда нам остается только узнать: зачем вам понадобилось в столь срочном порядке устраивать перевод сына в Софию и кто вам в этом помог? Последнее нам особенно интересно, все ваши помощники нам нужны. Отвечайте.

— Но вам придется узнать действительно интимную историю, — медленно и тихо начал генерал. — Примерно полтора месяца назад мы с женой узнали, что там, в Варне, наш сын сблизился с одной женщиной, которая... как бы вам сказать... особенно ее не обижая... Словом, вопрос стоял так: если он на ней женится, это обернется большим несчастьем и для него, и для всей нашей семьи.

— Заимов, мы не желаем слушать твои сказки! — перебил его Цонев.

— Вы просили ответить на ваш вопрос, я отвечаю. Я срочно выехал в Варну. Поговорил с сыном и понял, что спасти его может только немедленный перевод, и как можно подальше от Варны. Вернувшись в Софию, я обратился за помощью в военное министерство, там вошли в мое положение, поняли мою тревогу, и был отдан приказ о переводе.

— Кто именно в военном министерстве вошел в ваше положение? — спросил Цонев. Праматоров взял в руки карандаш...

— Это сделал сам военный министр, я обратился за помощью именно к нему.

Цонев и Праматоров о чем-то тихо разговаривали между собой. Заимов смотрел на сына, он видел его в последний раз.

— Пока хватит, — сказал Праматоров, вставая.

— Но знай, если ты оболгал господина министра, тебе

это дорого обойдется,— сказал Цонев и показал на столлик в углу: — Тебя ждет лампа.

Сначала увели Стояна.

Генерал вернулся в свою камеру. Сердце все еще часто и больно стучало. Комок в горле мешал дышать. Во рту шершавая сухость. Он протянул руку к кружке с водой, но не смог ее взять — не слушались пальцы. Спокойно, спокойно. Он сел на нары и скрестил, сжал на груди трясущиеся руки. Спокойно, спокойно. Пока ничего страшного не произошло. Эта очная ставка ничего палачам не дала. Он сказал им правду — приказ о переводе сына по его просьбе отдал военный министр. Но охранка знает о сыне то, чего не знал военный министр. Теперь она возьмется за варненскую группу, чтобы рядом с ним на скамью подсудимых посадить и Стояна, и его товарищей. Заимов не знал, что участники варненской группы, в это время уже арестованные, сговорились брать на себя все, что обвинение будет предъявлять Стояну, и пытаться таким способом его спасти¹.

Заимов не мог себе представить сына рядом с собой на скамье подсудимых. Это было уже за пределами того, что он мог перенести.

Увести с собой на смерть сына!.. Нет!

Он сделает это завтра...

Его смерть спасет и Стояна!

Ночью, когда тюрьма затихла, он разломил папиросную коробку и на кусочках картона написал предсмертное письмо:

«Начальники!

Не осуждайте полицаев! Они хорошо меня охраняли, но того, кто решил не жить, никто не может остановить».

«Милые, дорогие мои Анна, Степа² и ты, моя маленькая Кладинетка³, которых я делаю такими несчастными, вы, старые, немощные мамочки, сестры, Вера и Иосиф, и все близкие друзья — все вы простите меня, что оставляю вас, и верьте, что я действовал по убеждению. То, что я

¹ Эту задачу последовательно и самоотверженно выполнял боевой друг Стояна, член группы Арам Хаджелян. Суд приговорил его к смерти, но затем казнь ему заменили пожизненным заключением. (Здесь и далее — примечания автора. — *Ред.*)

² Так в семье звали Стояна.

³ Дочь Клавдия.

оставляю вас без средств, докажет вам, что я не продавал себя.

Я верю в то, что придут дни, которые покажут, что я был прав. Чем больше думаю, прихожу к убеждению, что должен покончить с собой. Верные слуги немцев позвали их и в мое дело, и они не оставят меня в живых, о чем когда-нибудь, может быть, будут жалеть.

Итак, мои милые, Анна, моя верная подруга беспримерной преданности и благородного сердца, ты нежный и хрупкий цветок, который я так плохо оберегал, несмотря на бесконечную любовь к тебе; Степа, хороший и благородный мой мальчик, какое горе я оставляю тебе! Будь оплотом для своей несчастной матери и маленькой сестренки. А ты, моя маленькая Клавдия, которая так ласкала своего папу (а он так тебя любит!); ты, которая так гордилась мной, что тебе придется пережить! Запомни хотя бы то, что твой папа очень, бесконечно тебя любил. Будь доброй и послушной с мамочкой. Я вижу, какой несчастной будет она без меня, — любите ее, берегите ее.

Как хочу, как жадно хочу увидеть вас хотя бы еще раз.

.

Воскресенье — Врибница

Встал. Умылся. Погода хмурая. Идет дождь. Таков ли мой последний день?

Милые мои, как жажду увидеть вас. Но вижу, что для всех нас будет лучше, если я покончу с собой. Хорошо бы, опыт прошел удачно.

Анюта, ты часто повторяла сказку о материнском сердце, которое спрашивало: «Сынок, ты очень ушибся?» Ты прислала мне вазелин для здоровья. Он мне уже не пужен, но послужит мне, чтобы облегчить боль при смерти, и в последнее мгновение я буду видеть тебя, моя дорогая, как ты говоришь: «Пусть будет тебе не так больно, Владек!..»

Анна, Степа, Буличка, писать вам — мое последнее счастье. Не нахожу сладких имен, которыми мог бы вас назвать. Если мой опыт удастся, то последнее мое дыханье будет о вас. Помните только мою любовь к вам.

В л а д я .

.

Он очнулся в больнице. Раньше, чем успел что-нибудь подумать, услышал разговор и сразу понял, что говорят о нем.

— Вы же позавчера сказали, что он умрет...— Это был голос главного инспектора полиции Цонева, ошибиться было нельзя.

— Но я говорил еще, что здесь такой случай, когда все зависит от организма больного. Судя по всему, его организм совершил чудо.— Этот мужской голос был ему незнаком.

— Чудеса, доктор, показывают в цирке.— Опять голос Цонева.— Скажите-ка лучше, может быть ухудшение?

— Не думаю. Кризис произошел позавчера, а сейчас у него почти нормальный пульс хорошего наполнения.

— Ладно. Черт с ним... с кризисом.

Тишина.

Заимов открыл глаза и увидел склонившуюся к нему крупную седую голову, внимательные серые глаза.

— Вы меня видите?

— Вижу.

— Узнаете? Не шевелитесь, пожалуйста.

— Нет.

— Я чинил вашу голову в семнадцатом году, после ранения, вы тогда всех нас, хирургов, звали «трифоны зарезаны».

— Забыл, доктор... забыл...

— Боли в сердце есть?

— Боли нет... неловкость какая-то... будто жмет что-то...

— Еще бы.— Доктор положил теплую руку на его лоб.— Целую неделю вам нужно быть очень осторожным, никаких движений, полное спокойствие. Рана должна хорошо зажить.

— Хорошо. Доктор, здесь был господин Цонев? Только что?

— Это не имеет для вас никакого значения, здесь больница.

Нет. Это имело для него громадное значение.

В первые минуты возвращения к жизни он еще не мог объяснить себе, как могло случиться, что он, готовя свой последний шаг, не подумал о главном: убивая себя, он сам прекращал борьбу, ради которой каждый день шел на смертельный риск и которую был обязан, именно обязан вести до конца. Его смерть обрадовала бы палачей. Тот

же Цонев кричал бы: смотрите, ему самому стало стыдно жить!

Сейчас только одна мысль владела всем его существом. Все остальное, казавшееся таким важным, непреложным, все, что толкало уйти из жизни, заслонила теперь одна простая и ясная истина — он обязан жить и бороться до конца.

Тюремную машинку подкинуло на выбоине. Заимов чуть не вскрикнул от боли, пронизавшей все тело. Палачи часто проделывали это — швыряли его спиной о каменную стену. Потом были удары цоневского сапога в поясницу, после чего он стал ощущать позвоночник, как до предела натянутую струну — чуть коснись, лопнет. С ненавистью глядя на охранника, с трудом преодолевая боль, говорил себе: «Ничего, ничего, я живу. Живу. И сегодня там, на суде, вам будет со мной нелегко».

Суд будет сражением, и он к нему готов. Его оружие — правда. Он, конечно, знает, в чем его будут обвинять, но невозможно поверить, что их ложь кто-то сочтет за правду.

Он был необыкновенно терпим к чужому мнению, уважал людей, которые мыслили не так, как он, но искренне верили в свою правоту. О таких он говорил: «Это достойный противник». Но его повергали в ярость люди с продажным мнением и совестью, которые объявляли истиной только то, что приносило им выгоду, у которых сегодня был один бог, а завтра другой.

Но сейчас на суде речь пойдет о том, о чем двух мнений у болгарина быть не может, — об отношении к России. Если болгарин учился хотя бы в начальной школе или даже только слушал, что ему говорили родители, он не может не знать, что Россия спасла его страну от турецкого рабства. Когда в первой мировой войне Болгарию заставили воевать вместе с Германией против России, чем это кончилось? Братанием на фронте и бурным восстанием болгарских солдат, которые по примеру своих русских братьев подняли знамя революции и пошли на Софию. Так ответил тогда на этот вопрос народ.

Сейчас этот же вопрос стоит перед каждым болгаринцем с особенно беспощадной ясностью. Гитлер открыто заявил, что славянские народы должны стать навозом для великогерманской расы господ. Болгары знают, что